

Избранные сочинения кавалерист-девицы Н.А.Дуровой //Московский  
рабочий, Москва, 1983  
FB2: "Wchsl ", 11 December 2009, version 1.0  
UUID: 0AA57802-1A92-48A9-AF38-5E0339FF6735  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Надежда Андреевна Дурова

## **Серный ключ**

# Надежда Андреевна Дурова

## Серный ключ

**Б**оже мой! Какая скука! Что делать? Чем заняться? Куда девать столько праздного времени? Книги да прогулка, прогулка да книги! От этого голова пойдет кругом!

Правда, здесь много прекрасных, любезных, девственно-свежих и веселых дам. Но я хотел бы знать, что может быть несноснее вечной свежести и веселости? Мне она до смерти надоела! Хотя бы на минуту побледнели лица румяные. Хоть на полчаса грусть омрачила бы черты, столь прекрасные. Как были бы они пленительны!.. Так нет: как назло, цветут и смеются от утра до вечера, от вечера до утра. И вечером и утром, и в полдень и в полночь, в дождь и в ясную погоду, в пятнадцать лет и в шестьдесят — все одно и то же! И в самую вечность пойдет с ними одно и то же! Как сравнять их с пленительными варшавянками! Те — апрельская погода, со всеми ее прелестными и быстрыми переменами!.. Там некогда ни обеспечитья, ни увериться.

Нужны непрерывное внимание, всегдашняя осторожность. И это дает столько занятия уму и сердцу; нет места томительному равнодушию, когда боишься потерять что-нибудь милое, а особенно если милое мило всегда и именно потому, что никогда не бывает одинаково. Прелестный край!..

Таковыми-то мечтами и воспоминаниями обуревалась голова молодого Л..., уланского ротмистра, возвращавшегося, часу в девятом вечера, с всегдашней своей прогулки на Холмах; так называлось одно из лучших местоположений в окрестностях города \*\*\*. Неблагодарный молодой человек пробегал поспешно и без внимания места, на которые нельзя было смотреть без восхищения и которые были местом его рождения. Мысль его летала то по великолепным гостиным в Варшаве, то по низким болотистым полям Гродненской губернии; в первых светило его солнце, во второй квартировал полк. Впрочем, и то надобно сказать, что как бы ни было что прекрасно, но если смотреть на него всякий день несколько недель сряду, то можно уже в иную пору оставить и совсем без внимания.

Всесильная привычка, уравнивающая все, делающая прекрасное обыкновенным, безобразное сносным, заставила и молодого Л... смотреть равнодушно на величественную реку, обширные леса, высокие горы, зеленые луга, усеянные всеми возможными цветами; мимо всего он шел так скоро и в такой задумчивости, что наконец набежал на ограду кладбища. Он остановился. Гродненские поля и варшавские залы с их очарованием исчезли — Л... увидел себя на полях своей родины, у кладбища и в двух шагах от могилы несчастного Сендомирского: на ней ярко блистала золотая надпись на черной доске. Л... знал Сендомирского; они были друзья; знал причину его преждевременной, трагической смерти. Молодой человек с горестью облокотился на памятник, над могилою прежнего друга. Она так много, так внятно говорила его сердцу. Л... закрыл лицо руками и отдался мыслям, которые, сменяя одна другую, перенесли наконец его от плачевной судьбы Сендомирского к славе, блеску, силе, богатству, цветущему состоянию, смутам, раздорам, междоусобным войнам, упадку его отечества,

Польши... Легкое прикосновение к плечу заставило его вздрогнуть. Все призраки воображения разлетелись. Исчезла Польша с своими пышными садами, замками, войсками, грудями червонцев и пр. Перед ним стояла молодая исправница Лязовецкая, любезнейшая и вместе прекраснейшая из дам уездного городка, где улан Л... томился в отпуску.

— Что вы делаете здесь? С четверть часа уже, как вы стоите так неподвижно, что вас можно бы счесть за принадлежность к памятнику Сендомирского. О чем вы так задумались? Покойник был вам знаком?

— Он был мне друг. Но не его, собственно, участь так заняла меня. Да, впрочем, бог с нами со всеми! Расскажите мне лучше, где вы были все это время? Я не видал вас более месяца: куда вы ездили?

— На воды.

— Нет, без шуток: неужели в округу с мужем?

— Я совсем не шутя говорю, что ездила на воды.

— Как можно?..

— Вы, право, забавны с вашим: как мож-

но!.. А почему ж не можно? Что вы тут находите невозможного?

— Ничего, разумеется, но вы сделали это так секретно, что никто ничего не знал! Не было ни толков, ни заключений, ни даже малейшего слуха, а ведь у вас такое событие, как, например, поездка на воды, не безделица! У вас оно служит эпохой, от которой ведете вы ваши летосчисления, как от...

— Полно, полно, молодой человек! Поберегите ваши остроты до возвращения в Гродно, а в нашей глуши они не имеют цены...

— Так расскажите ж мне, куда, в самом деле, вы ездили? Зачем? Что там делали? Что видели?

— Говорю вам, что ездила на воды, на Серный Ключ, близ селения Курцем.

— Что за гармоническое название! В какой же это стране света? Имя не русское.

— Это деревня черемисская,<sup>[1]</sup> и не далее восьмидесяти верст отсюда... Но пойдете в город; солнце совсем уже закатилось. Дорогою я расскажу вам о своем путешествии. Да, что вы так рассеяны сегодня, Л...? Вы, кажется, еще не заметили, что со мною дети мои?

Поцелуйте их.

Л... тогда только увидел, что Лязовецкая вела за руки двух своих сыновей, прекрасных, как амуры. Перецеловав детей, он извинялся в своей невнимательности, ссылаясь на то, что поездка ее на какие-то небывалые воды свела его с ума. Они пошли обратно к городу.

— Итак, вы не верите, — начала говорить прекрасная спутница Л..., — чтобы я была на водах? Не верите существованию нашего Серного Ключа, который кипит и клокочет в восьмидесяти верстах от неверующих обитателей нашего песчаного, морского дна, как вам угодно называть наш город?

— В восьмидесяти верстах! Но ведь это так близко, что даже против воли можно было бы знать об вашем ключе, если бы он в самом деле был!.. Нет, воля ваша, вы шутите, или тут какое-нибудь иносказание.

— Полно вам с вашими иносказаниями! Вы слышали и сами об нашем ключе, но забыли. Об нем были большие хлопоты, разведывания. Окружной лекарь обратил внимание на необыкновенный вкус воды и, найдя,

что она наполнена серными частями, уведомил об открытии свое начальство. Слухи носились, что целительность вод его не уступает заграничным, но впоследствии все затихло.

— Почему ж?

— Говорят, что, пока смотрели и рассматривали, ворочали и переворачивали донесение окружного лекаря, он умер. На место его приехал другой, который не имел такой веры к ключу...

— Я не понимаю, что за радость была прежнему лекарю заботиться, чтобы ключ признали годным?

— Вы смешны, Л...! Как что за радость лекарю, что оказался годным Серный Ключ в его округе? Ведь к таким местам ездят обыкновенно лечиться, а где лечатся, там, я думаю, лекарь главное действующее лицо. Нынешний лекарь, может быть, не надеялся удержаться тогда на своем месте и потому не хотел хлопотать для другого. Думаю, что предчувствие или опасение были главною причиною его беспечности. Удержаться на месте можно было бы легко, но только не З...

— Ах! так это З... Я знаю его. Он женат на польке. Какая красавица жена его!

— Да, у него только и хорошего, что красавица жена.

— Ваша правда. Вот человек, в котором вообще нет ничего худого, но нет и ничего хорошего! Мне кажется, что природа и сама не знает, как сотворила его.

— Ну, нет! В нем есть одно замечательное качество.

— Вы хотите сказать, что он скуп?

— Да.

— Это правда: скуп он единственным образом, ему одному только свойственным! Я расскажу вам смешной анекдот об его расчетливой философии: как-то заболели у меня зубы; вы знаете, что в этом только одном случае вся моя твердость исчезает...

— Знаю, что вы неженка, — что ж далее?

— Я пошел к З... просить какого-нибудь снадобья, как говорит одна из ваших знакомых.

— Оставьте ее в покое — у нас так говорят.

— Я пришел к нему в час пополудни — пора, в которую все благочестивые провинциа-

лы обедают. Насилу я достучался; наконец отперли. «Где лекарь?» — спросил я кухарку, которая отворила мне дверь. «Кушает». — «Проведи меня к нему». — «Извольте идти сами. Из залы дверь направо в столовую».

Я пошел и, увидя дверь направо, отворил ее и вошел в тесный, гадкий чулан, где за мискою какой-то спартанской похлебки сидел З... с своим ангелом, с прелестною черкешенкою...

— Ну, одним словом, с своею женою! — прервала Лязовецкая, несколько нетерпеливая.

Л... покраснел.

— Думаю, появление ваше привело его в замешательство?

— Худо вы его знаете, если так думаете; это Кратес,[2] который хвалится своим цинизмом. С величайшим хладнокровием он встал из-за стола и просил меня в залу; но, будучи довольно умен, угадывая, как должны были удивить меня его обед и та собачья конура, в которой он так роскошно пирует, он сказал мне: «Вы, верно, удивляетесь моей укромной столовой и слишком умеренному обеду? Не

думайте, чтобы это было от скупости! Нет, я ведь имею достаток, но поступаю так соответственно понятию, какое имею о не совсем-то благородной естественной потребности — есть.»

— Не совсем благородной?.. Что за чудак! Почему ж не совсем благородной?

— Я думаю, он и сам не знает почему, а так врал, чтобы только сказать что-нибудь в оправдание своей *cochonnerie*. [3]

— А, не смеете же сказать по-русски такого деликатного словца!.. Что ж еще говорил З...? Какое понятие имеет он о неблагородной потребности есть?

— Он говорит, что человек должен удовлетворять эту потребность просто, где-нибудь, как-нибудь и чем-нибудь, и что нет ничего неблагопристойнее, по его мнению, как званные обеды, роскошь, изысканность, утонченность, пышность, блеск, дороговизна. И все для того только, чтобы удовлетворить грубую потребность, доказывающую ничтожность человеческой природы!..

Лязовецкая захохотала.

— Что ж вы отвечали на такое прекрасное рассуждение?

— Ничего. Но мне очень хотелось спросить: одного ли с ним мнения жена его?

— Однако ж не спросили?

— Как можно! За кого ж вы меня считаете?

— За ветреника в отпуску.

— Бог с вами! Однако ж теперь не угодно ли поквитаться: я рассказал вам анекдот о скупом, расскажите мне ваше путешествие.

— Теперь уже некогда. Вот мы в городе, но пойдёмте ко мне ужинать; муж мой где-то завоевал стерлядь, от которой он в восторге, и вот ее великолепное описание — передаю вам его слово в слово: янтарная, около пуда весом, в Петербурге дали бы за нее тысячу рублей для стола, например, хоть Ш... И мы будем есть такую рыбу? Какой соблазн! Какое мотовство! Разве нельзя грубую потребность, доказывающую ничтожество природы нашей, удовлетворить куском хлеба? Предоставим такую роскошь З... Идите вперед с детьми, а я подойду только вот к этому дому, постучу в окно; здесь муж мой. Спрошу его: будет ли он с нами ужинать?

Пока красавица Лязовецкая говорила с мужем, Л... с двумя мальчиками ушел вперед.

Старший из детей начал говорить:

— Мы пили серную воду из ключа. Какая она нехорошая! Маменька водила нас каждое утро к этому ручью и приказывала пить по три стакана гадкой воды его.

— И вы пили?

— Пили. Миша всякий раз плакал!

— А ты?

— Я нет. А один раз, так и маменька плакала.

— Об чем же?

— Не знаю! Она привела нас к ручью, напоила водок и приказала играть и бегать, а сама села на берегу, прямо против какого-то зеленого бугра, смотрела на него долго не сводя глаз, и плакала; я видел, как она беспрестанно прикладывала платок к глазам.

— А после?

— После повела нас домой и не плакала уже более.

Л... шел тихо, желая дать время Лязовецкой присоединиться к ним; она и муж ее скоро догнали их. Лязовецкая сказала, что по неограниченной власти, какую всякая благо-разумная жена должна иметь над своим му-

жем, она отняла его у товарищей, с которыми он расположился был выпить бутылку шампанского.

— Скоро неограниченная власть твоя ограничится, — сказал Лязовецкий, шутя. — Восемь лет, как мы принадлежим друг другу; тебе минуло уже двадцать пять лет, пора, в которую власть жены хотя не приметно еще, а все-таки начинает уже уменьшаться.

— Ну, там увидим!.. А что вы тут щебетали, мои колибри? — спросила Лязовецкая, наклонясь к детям и целуя их. — Я слышала, вы что-то рассказывали?

— Да, они выдали мне ваш секрет, и я теперь знаю что вы плакали на берегу ручья против зеленого бугра.

— Представьте, как дети приметливы! А мне и в ум не приходило, что они замечают мои поступки.

— О чем же вы плакали?

— Ах! это слишком горестная история!

— Вы в долгу у меня: обещали рассказать о поездке на воды, так нельзя ли вместе и горестную историю?

— Хорошо, я расскажу вам все послеужи-

на, а теперь пойдёмте скорее.

Через полчаса все были уже за столом, на котором дивила взор и услаждала обоняние хваленая стерлядь. Лязовецкий сказал жене, что как она увела его от шампанского, то чтобы приказала подать бутылку этого вина; что он не хочет терять своего и что грешно было бы есть такую стерлядь, не запивая шампанским. Вино явилось, и довольный хозяин говорил, что у самого Лукулла никогда не бывало такой рыбы на его роскошных пирах.

По окончании ужина все разошлись по приличию: исправник ушел в кабинет заниматься делами; дети легли спать; молодой ротмистр поместился в вольтеровских креслах близ круглого столика перед диваном; прекрасная хозяйка села на диван и взяла свое вязанье, говоря, что она может работать и рассказывать.

— Болезнь моих малюток заставила меня советоваться с многими лекарями. Все они сказали, что лучшее средство вылечить их совершенно и прочно — делать для них серные ванны. Ехать на Кавказ я не могла, как по небогатому состоянию моему, так и по невоз-

возможности оставить надолго свое хозяйство без собственного присмотра. Итак, я решилась испытать целительную силу серного ключа в селении Курцем. Выбрала время, когда мужу надобно было долее обыкновенного пробыть в округе, собралась и поехала. В деревне я заняла дом, крайний к полю, чтобы ближе было ходить на ключ. Разумеется, квартирою моею была простая крестьянская изба, которой все удобства состояли в лавках и полатях; впрочем, она была из лучших, то есть просторна и светла. Каждое утро, в пять часов, ходила я к ключу, протекавшему не далее, как в полуверсте от моей хижины. Тут я купала своих детей, заставляла их пить по три стакана воды и после бегать и играть на берегу самого ручья. Окрестности его очаровательны: зеленые луга, множество цветов, душистых трав, тенистые рощи, тьма соловьев и прекрасные виды вдаль делают это место раем, которым я расставалась всегда неохотно и всегда как можно позже: я тут вязала, читала, рвала цветы, убирала ими своих двух амуров и убиралась сама...

— Как их маменька? — прервал Л...

— Признайтесь, Л..., — сказала Лязовецкая, — что вы довольнее, сказав мне свое приветствие, нежели я, получая его?

Из кабинета послышался смех. Л... немного надулся, немного отодвинулся. Но Лязовецкая так мила, так добродушно смотрит своими темно-голубыми глазами, так ангельски улыбается!.. Л... только двадцать четыре года... Он опять придвинулся

— Будет продолжение? — спросил он.

— Будет, если вы не устали слушать.

— Опять эпитаграмма! Да полно вам, ради бога!

— Слушайте же и не прерывайте уже более, а то я не кончу до рассвета. — В один день вздумалось мне пройти несколько далее по течению ручья, за рощу, которая примыкала к противоположному берегу его и так близко, что крайние деревья были подмыты водою и наклонились в нее ветвями; роща была высока, густа и занимала большое пространство. Мне очень хотелось видеть, что там еще за нею скрывается. Я взяла с собою детей и пошла. Обошед рощу, я была поражена каким-то благоговейным страхом при ви-

де грозного, необозримого соснового леса; несмотря на ясный полдень, на яркий свет июньского солнца, в дремучем лесу царствовала глубочайшая ночь! Содрогаясь, смотрела я с каким-то непонятным для меня ощущением ожидания и любопытства в непроницаемую, черную глубь. Казалось, что не было никакой возможности пройти туда человеку: так плотно были между собой все деревья и так густо сплелись они ветвями; только что хотела я подойти поближе к лесу, как вдруг услышала пение. Я остановилась. Не знаю почему, звуки эти испугали меня; я прижала к себе детей и стала вслушиваться; через минуту мне стало стыдно неосновательности своего испуга. Необыкновенная приятность и унылость голоса скорее могли растрогать, нежели испугать. К тому же в поле были люди: женщины брали землянику; мужчины расчищали место для засева на будущий год. Ободрясь всем этим, я решилась подойти к самой опушке леса; детей, однако ж, не взяла с собою, но отдала их под присмотр своей хозяйки, тут же бравшей землянику, и отправилась к лесу, вдоль по течению ручья, катив-

шего светлые воды свои под непроницаемую тень дебри, в которую я так храбро собиралась войти. Однако ж, дошед до леса, я остановилась и минуты с две думала: погрузиться ли в этот мрак или возвратиться назад? Но ведь любопытство, говорят, сильнее всего в нашем поле. Я уступила непреодолимой власти его, вошла в лес и, следуя извилинам ручья, углубилась в самую чащу; поющая сирена не умолкала, и по мере, как я подвигалась вперед, голос становился явственнее; слова не русские, но голос — какой голос! Я плакала! Наконец усматриваю предмет моего любопытства, поисков, а теперъ живейшего сострадания: то была девица, черемиска, лет семнадцати или восемнадцати, бледная, как белый мрамор, но невыразимо прекрасная: большие глаза ее были черны и блестящи, рот хотя казался несколько велик, надобно думать, от чрезмерной ее сухощавости, но был, однако ж, свеж, как роза, и до пленительности хорош, и как она была крестьянка, то не удивительно, что ровные прекрасные ее зубы были белы, как слононая кость; на ней был белый полотняный шабур,[4] вышитый

красными, зелеными и синими цветами.

— Что такое шабур?

— Род тюника. Молодая черемиска сидела на берегу, наклоняясь очень близко к ручью. Она пела, плакала и беспрестанно опускала в воду свои длинные светло-русые волосы, прекрасный золотой отлив которых был разительно противоположен ее черным бровям и ресницам. Не удивляйтесь такому подробно-му описанию: я, по крайней мере, с полчаса стояла неподвижно на одном месте и рассматривала ее, не отводя глаз ни на минуту. Она продолжала петь, плакать и опускать в воду свои волосы; она вынимала их, жала, терла руками и опять опускала в воду. Я не смела заговорить с нею. Наконец она встала; ее красивый рост, стройный и легкий стан отвечали совершенно красоте лица. Она пошла из леса тою же тропинкою, по которой я пришла к ней и на которой теперь стояла. Отсторонясь, чтобы дать ей дорогу, я увидела, что она ни на что не смотрит вокруг себя и не сводит глаз с волос своих, которые держала в руке. Дав ей время отдалиться, я пошла за нею следом, не теряя ее из вида; вышед из ле-

са, она продолжала идти все по берегу ручья и наконец пришла к роще; тут тихо склонилась на какую-то возвышенность, род могилы, обняла ее руками, прижалась к ней лицом и осталась так неподвижною. Дети, завидя меня, прибежали с криком: «Маменька, маменька! посмотрите, сколько у нас земляники!» Я думала, крик их испугает молодую черемиску, но она лежала, как камень. «Что вы смотрите, барыня?» — спросила моя хозяйка, подошедшая ко мне вслед за детьми. Я указала ей на лежащую девушку. «А, это наша бедная Зеила, сумасшедшая! Она по целым часам моет свои волосы, плачет и причитает что-то». — «Для чего ж она моет их?» — «Ей все кажется, что на них кровь». — «Ах, боже! Какой ужас! Отчего ж ей кажется?» Хозяйка рассказала мне тогда длинную историю, которую я постараюсь сократить для вас, потому что, кажется, я уже усыпила вас своим рассказом.

— Нет, нет! Ради бога, не сокращайте! С чего вы взяли, что рассказ ваш может усыпить меня? Напротив, он становится чрезвычайно интересен.

— Зеила осталась от отца и матери трех-

летним ребенком, но столь восхитительно прекрасным, что все крестьяне единодушно взялись кормить ее, одевать и доставлять выгоды и удовольствия, каких не имели собственные их дети. Все крестьяне не иначе называли ее, как «наша дочь, наша Зеила», и дитя тоже всякую женщину в деревне звала матерью. Она жила у кого хотела, во всякой избе была дома, у себя, могла распоряжаться всем, могла ничего не делать, если не хотела. Ее столько все любили и лелеяли, что никому и на мысль не приходило заставлять ее что-нибудь работать. Но девочка, одаренная красотой, не виданною между черемисами, была одарена также и добродетелями. Она была кротка и ласкова, охотно бралась за все, что было по силам ее, и помогала всем маменькам в их работах. С восторгом смотрели на нее молодые и старые черемисы, когда она, положив на стройные плечи свои коромысло с ведрами, протягивала по нем белые, как атлас, гладкие свои руки и легкою поступью отправлялась на ключ за водою, на тот самый ключ, в котором она теперь моет свои прекрасные волосы, тщетно стараясь смыть с

них кровь, которою, кажется ей, они покрыты.

Сначала, когда Зеиле было только четырнадцать лет, она ходила за водою больше для того, чтобы погулять, тем более, что ее решительно не хотели допускать ни до каких трудов. Красота ее столько очаровала всех, что даже самые зависть и скупость обратились в доброжелательство; для нее никто ничего не жалел, и она в полной неге и довольстве возрастала роскошно, как юная роза в кустарнике. Но вот красавице минуло шестнадцать лет, в ней оказалась непонятная для всех странность. Она непременно хотела одна носить воду для живущих на краю деревни, говоря, что ей вовсе нечего делать, что то не труд, а прогулка для нее и что, наконец, она просит такого поручения, как милости. Хозяйки тех домов, которые Зеила взялась снабжать водою, хохотали простодушно над ее капризом, целовали свою милую «работницу», как они называли ее шутя, и отдали в ее волю и полное распоряжение свои ведра и корытца.

Зеила ревностно принялась за исполнение

своей добровольной должности. Она вставала до зари, брала ведра и отправлялась на ключ; с восходом солнца во всех шести домах, которые были к полю, находился уже полный запас воды для утренних надобностей, как-то: стряпни, мытья, умыванья. К полудню опятьгнулось коромысло на белых, красивых плечах Зеилы, опять лилась вода с шумом и блеском в кадочки, приготовленные старательными хозяйками.

Несмотря на то что крестьянам, всегда занятым работою, некогда терять времени на толки, пересуды и догадки и что им некогда ничему слишком долго удивляться, странность Зеилы занимала их почти с неделю. Они выходили смотреть, когда она шла с водою, и пожимали плечами; женщины смотрели за нею вслед, когда она шла на ключ с пустыми ведрами, но не видели ничего более, как только то, что она, зачерпнув воды, в ту же минуту шла обратно. Наконец им наскучило выходить смотреть: они опять занялись обычными работами и предоставили Зеиле полную власть над ключом и своими ведрами, решив единодушно, что то просто фанта-

зия молодой головы и более ничего. Но если бы добрые женщины встали, как Зеила, до зари и взглянули бы вслед черноокой сироты своей, тогда тайна пристрастия ее носить воду объяснилась бы в глазах их, но они спали, и все оставалось покрыто непроницаемою завесою до развязки.

Ключ близ деревни Курцем не принадлежит собственно ей, но отделяет только ее поля от полей деревни Бутры, тоже черемисовой, и служит им границею. Близость обширного леса, в котором водилось много зверей, заставила жителей деревни Бутры избрать пастуха для стад своих; выбор, весьма естественно, пал на сироту, не имевшего ни отца, ни матери, ни родных, ни друзей, ни поля, ни скота, одним словом — ничего. Молодой Дукмор был вскормлен миром, то есть жителями всей деревни, и его прочили при первом наборе в солдаты. Но хотя он был беднейшее существо в свете, хотя должен был работать с утра до вечера за кусок хлеба, хотя белый холстинный шабур его был единственным одеянием зимой и летом, однако ж природа была для него самою нежною матерью. Она дала

ему высокий рост, стройность, необычайную силу и красоту лица, иногда еще не виданную в сем народе, по большей части малорослом и неуклюжем.

Дукмор не был так счастлив, как Зеила, и не только что внушал участия своим соотечественникам, но, напротив, его превосходство над ними возбуждало их зависть, заставляло ненавидеть и с нетерпением ожидать набора, чтобы отдать его в солдаты. Бедный юноша, столь блистательно отличный от своих земляков, что не мог быть ими терпим, обрадовался, когда ему сказали, что деревня избирает его пастухом стад своих. Выбор давал ему возможность отделиться от неблагонамеренных товарищей своих и возблагодарить некоторым образом жителей деревни, вскормивших его, хотя неохотно, но все-таки вскормивших. Дукмор принял стадо счетом; и всякий день, от зари до зари, пас его на обширных лугах, лежащих между сосновым лесом и Серным Ключом, границею деревень Курцем и Бугры. Он ходил за стадом, играя на какой-то дудке, вроде флажолета,[5] своего изобретения. Надобно думать, что природный

вкус заставлял его извлекать приятные тоны из инструмента, потому что слышавшие его невольно останавливались и заслушивались долее, нежели позволяло рабочее время. Любимым местом его был берег Серного Ключа, там, где роща примыкает к самой воде. Отсюда мог он видеть все стадо, обе деревни и сосновый лес.

В начале той самой весны, когда Дукмор был выбран в пастухи, Зеиле минуло шестнадцать лет. Оба они никогда не видали друг друга и не имели даже понятия о существовании один другого, хотя сходство судьбы их, сиротство, дивная красота и должны были, кажется, сделать их известными друг другу, но таков быт деревенский, особливо у черемисов и прочих, им подобных, полудиких народов; они рождаются, растут, живут и стареются, не зная ни когда, что делается за версту от них, если только какой-нибудь случай не приведет их в ту сторону.

Через неделю после того, как Дукмор вступил в должность пастуха, Зеила пошла, около полудня, на ключ за водою. Она остановилась в изумлении, услыша приятные и тихие зву-

ки флажолета. Они неслись к ней из глубины рощи, примыкавшей к ручью, и слышались то тише, то явственнее. Зеила стояла неподвижно... Надобно знать, что ключ исстари слыл очарованным, верно, потому, что не замерзал и что вода его была не совсем обыкновенного вкуса. Жители не хотели было брать воды из него, но время и необходимость ознакомили их с мыслью, что очарование ключа безвредно; впоследствии они уверились, что оно даже и благотельно, потому что скот, пасшийся на берегах его, был крупнее скота других деревень, и, наконец, переходя из одной крайности в другую, они стали думать, что ключ находится под покровительством одного из добрых духов.

— Как духов? — спросил с удивлением Л... — Разве они не христиане?

— Христиане по наружности, то есть они крещены, ходят в церковь, приобщаются и соблюдают посты, но все усилия наших священников и правительства не могут истребить совершенно дух идолопоклонства в народе; они скрываются в самых мрачных и непроходимых лесах для отправления таинственных

обрядов, из которых иные ужасны и кровавы. [6] Гибель тому, кто застал бы их в таком действии! Все они имеют в нравах своих свирепость диких народов. Дремучие леса, в которых они строят всегда свои жилища, много способствуют как исполнению варварских обрядов их, так и сохранению неизменяемой дикости нравов.

Итак, предание о ключе было таково, что воды его имеют волшебную силу; поверье утвердилось более еще от разведывания и участия, какое принял тут окружный лекарь. Но когда приехали и взяли в бутылку воды из их ключа, когда сказали черемисам, что пошлют в губернский город воду, когда они узнали, что к их ручью будут приезжать лечиться, тогда-то взволновались тяжелые умы черемисского поколения! Они сходились по вечерам толпами на берег своего ключа, толковали, ужасались и расходились, поникнув головами. Они полагали, что цель всей тревоги была та, чтобы уничтожить власть доброго духа, покровителя их ручья. «Вот, верно, наедут господа из города, и тогда злой Керемет[7] завалит его песком и землею. Что мы будем

делать? Где будем поить скот свой?» Так толковали и горевали жители деревни Курцем, но благодаря обстоятельствам, о которых я говорила вам сначала, опасения дикарей уничтожились, и ключ их прыгал и клокотал по-прежнему, не обращая на себя более ничьего внимания. Спустя уже два года после того тревожного времени случилось, что Зеила пошла за водою и услышала никогда еще ею не слыханные звуки неведомого инструмента.

Она все еще стояла неподвижно, как прелестнейшая из статуй; между тем звуки приближались, становились явственнее. Зеила едва дышала, устремляя взор в глубь рощи, откуда слышалась ей игра Дукмора... Наконец он вышел из рощи, увидел Зеилу и остановился, так же неподвижно, как и она. Кто опишет чувства их!.. Оба в цвете лет, одаренные красотой, никогда еще не виданною в их стороне, оба напитанные всем суеверием народа, к которому принадлежали, сошедшись на берегу ручья, с давних времен считавшегося волшебным, что могли думать, за кого почитать себя взаимно?.. Не могу рассказать вам, чем кончилась первая их встреча; мне

самой очень неудовлетворительно рассказывала хозяйка, у которой Зеила с того дня предпочтительно основала свое жилище. Кажется, что они сошли к самым берегам ручья, сели и смотрели друг на друга, не смея начать говорить, но впоследствии они освоились, перестали считать один другого чем-то сверхъестественным, рассказали себе взаимно о своем сиротстве, одиночестве и полюбили один другого со всем огнем юных, чистых, девственных сердец своих. С того-то времени Зеила выпросила себе обязанность носить воду для шести крайних домов деревни. Разумеется, ей нужен был только предлог ходить к ключу за делом, а без того ее стали бы провожать подруги, чего она более всего на свете боялась. Приходя к ключу на заре, она могла с полчаса сидеть на берегу против своего друга и говорить с ним, о чем только им обоим на мысль впадало. Зима не прекращала их свиданий; ключ не замерзал, итак, не удивительно, что трудолюбивая Зеила ходила по-прежнему за водою, по крайней мере, хоть для той хозяйки, у которой жила. Дукмор тоже улучал свободную четверть часа, чтобы прибежать к

ключу в самую пору, когда Зеила наливала свои ведра. Хотя ручей по-прежнему разделял молодых людей, но они по-прежнему говорили один другому, что любят друг друга более всего, более жизни, более будущего блаженства, одним словом, любят невыразимо. После того они расходились до завтра, и так прошла зима. Настала опять весна. О любви и свиданиях Дукмора и Зеилы никто не имел никакого понятия, и не знаю, чем бы она кончилась, если бы злой рок не вмешался в игру. Дукмора назначили в солдаты, а Зеилу все в деревне желали называть невестою, снохою, золовкою, женою. Ни одна девка в деревне Курцем не вышла замуж с того времени, как Зеиле исполнилось шестнадцать лет; всякий из молодых черемисов льстился надеждою быть ее мужем; она одна только ничего не замечала и продолжала ходить к любимому ручью с некоторого времени, однако ж, какая-то грусть запала и ее душу. Раза два думала она, что слышит в страшном соседнем лесу злое щий хохот Керемета. (По их вере, хохот его бывал всегда предвестием какого-нибудь ужасного бедствия и всегда слышится только

тому, с кем оно должно было случиться.) К умножению грусти ее, Дукмор сказал, что также слышал по две ночи ужасный смех их злого духа. Любовники грустили, сами не зная о чем. Зеила плакала, Дукмор смотрел на нее уныло; они сходились печально, расходились еще печальнее. Так прошло время до половины лета; настали жары, рабочая пора; деревни опустели; все, что имело силу работать, вышло в поле; в деревнях оставались только дети и дряхлые старики, да оставалась еще Зеила в деревне Курцем, жители которой ни за что не хотели позволить своей черноглазой красавице работать на солнце и портить белизну прелестных рук и лица. Теперь она могла почти весь день проводить на берегу ручья, под тенью деревьев того края роци, который примыкал к противоположному берегу и где Дукмор пас свое стадо. Она брала туда свое шитье и занималась строченьем разных узоров, слушала трогательные звуки фляжолета и плакала. С той ночи, в которую Зеиле слышался хохот Керемета, она всякий день плакала. «Ах! слышу я, слышу, что идет ко мне беда!» — говорила она, смотря на Дукмо-

ра глазами, полными слез.

В один день молодые люди пробыли у ключа долее обыкновенного; солнце давно уже закатилось; месяц еще не выходил; стадо Дукмора спокойно ело росистую траву, сам он сидел против Зеилы, и оба молчали, слушая соловья, который над самыми их головами щелкал, стонал, свистал и очаровывал всю природу своим ни с чем не сравнимым пением... Вдруг дикий хохот раздался в чаще бора... Зеила с глухим стоном упала на траву. Дукмор в ужасе поднялся с места: «Горе нам! Это Керемет! Погибли мы!..» Зеила ломала руки, Дукмор стоял неподвижно. «Беги, Зеила! — вскричал он, наконец. — Беги скорее! Я постою здесь, пока ты добежишь до своей избы. Беги, не бойся ничего: я не уйду с места, пока ты не будешь дома». — «Ах, прости, Дукмор! Мы более не увидимся. Это ужасный Керемет. Мы погибли!» — «Беги же, Зеила, ради бога! Завтра я приду сюда на рассвете, но теперь беги, как можно скорее, беги отсюда! Я подожду, пока ты добежишь». Зеила как легкий зефир перелетела пространство, отделяющее деревню от ключа, и молодой человек вздох-

нул свободно, увидя свою любезную под кровом и вне опасности. Он оборотился с гордым и мужественным видом к стороне леса, посмотрел с презрением в черную глубь его и пошел твердым и спокойным шагом собирать стадо свое, чтобы гнать его в деревню. Призвав к себе верных товарищей пастушеской своей жизни, двух огромных и сильных собак, Зиглора и Зуррая, с беспокойством заметил он, что они, ворча и оцетиня шерсть, жались к нему с каким-то страхом. Стадо его, пыхтя и озираясь, теснилось все вместе и начинало бежать к деревне. Пока он торопливо старался разглядеть, какой предмет мог так испугать их, стадо его пустилось во весь дух к деревне, испуская жалобный рев. Собаки, рыча, жались к встревоженному Дукмору; в лесу раздался треск, как будто что-нибудь с силою ломало сучья. Для юноши черемиса это была очень понятная примета: лесом шел медведь и, слыша близость стада, верно, искал добычи. Сердце молодого человека закипело мужеством.

Известно, что полудикие народы, всегдашние обитатели непроходимых лесов, нисколь-

ко не боятся единоборства с медведем; разумеется, что на такой опасный подвиг пускаются только молодцы, а то у них есть много и других способов ловить и убивать медведей.

— Да, слышал и я о различных хитростях их, но что значит единоборство?

— Единоборство с медведем верх ужаса для меня. Вот что мне рассказывали об этом: когда узнают, что в лесу появился медведь и если его величина, сила и лютость обратят на себя внимание всей окрестности на сорок или более верст кругом, тогда из всех окружающих молодых людей один кто-нибудь, род богатыря у них, решается, не говоря о том никому, вступить в единоборство с ужасным зверем. В случае успеха смелый ратоборец покрывается неувядаемою славою и сверх того продает кожу побежденною зверя, что бывает иногда довольно ценно. В случае ж неудачи он платит своею жизнью, и о предприятии его узнают только по остаткам белого шабура и нескольким костям

— Ужасно! Неужели Дукмор решился на такой уединенный бой, среди леса, с лютым и сильным медведем?

— Да. Но я еще не рассказала вам о способе сражаться один на один с свирепым жителем лесов. Герой, или безумец, не знаю как назвать того, кто против кожи медведя ставит свою жизнь, иногда столь богатую радостями, забрав себе в голову отыскать медведя, убить его, снять кожу, продать, разбогатеть и сверх того всю жизнь уже слыть отличным молодцом, идет, услаждаясь такими мечтами, в лес, отыскивает обычную тропу медведя и становится на ней, не имея другого оружия, кроме большого широкого ножа, с обеих сторон острого, как бритва; наконец он слышит треск сучьев, предвестие приближения противника, и вот они видят друг друга лицом к лицу; медведь ревет, становится на задние лапы и идет к человеку, человек к нему, и в то самое мгновение, когда медведь обхватывает его лапами, чтобы смять под себя, смелый и мужественный черемис, как молния, распарывает его ножом, от ног до груди, и в ту же секунду зверь падает бездыханен, с вывалившейся внутренностью, прямо на своего победителя. Подвиг геройский, но требующий невероятного проворства и присутствия ду-

ха.

Дукмор не сомневался, что причиной испуга стада его было появление медведя, но желал также узнать, будет ли он стоить того, чтобы пуститься с ним на смертный бой. Итак, он решился ждать, как огласит его молва. На заре пошел он к ключу, как обещал Зеила, но ее не было. От испуга и горестных предчувствий Зеила занемогла. Дукмор жалобно играл на флажолете, ходил за стадом с поникшей головой и беспрестанно взглядывал к деревне Курцем, не выйдет ли Зеила... Настал вечер: ее нет. У Дукмора навернулись слезы на глазах. «Что с тобой, моя Зеила?» — думал он и нога за ногою гнал стадо свое домой.

Весть о появлении в лесу медведя, как быстрый поток, разлилась по всем окружным селениям. Все встревожилось, но рабочая пора не дозволила принимать никаких мер, кроме того, чтобы запирать стада на ночь в оградах и спускать всех собак.

«А что, Дукмор? — говорили молодые люди селения Бугры, сойдясь вечером с юным черемисским аполлоном. — Не хочешь ли попро-

бовать счастья против незваного гостя в лесах наших? Кстати, у тебя на зиму нет тулупа, а его шуба, и красива, и тепла. Право, брат, решишь: мы помогли бы тебе, да видишь, нам некогда; к тому ж ты силач, каких у нас в деревне никто и не запомнит; нож не свернется в руке твоей. А знаешь ли, каков медведь? Стоит чести быть убитым твоей рукой! Чудовище ужаснейшее, какое когда-либо появлялось в священных лесах наших. Столетние старики говорят, что и от дедов своих не слышали, чтоб когда-нибудь заходил в нашу сторону подобный медведь.»

Дукмор молчал. Широкий нож его был так уже выострен, что перерубал волос на воздухе, и он почти решил идти в бор отыскивать ужасного врага и сразиться с ним, но ему хотелось прежде увидеть Зеилу; он сам не знал, для чего хотел того, но... Кровь его леденела при мысли идти на столь опасный подвиг, не взглянув еще хоть раз на Зеилу... Злой рок был неумолим. Зеила не показывалась у ключа; она лежала замертво на нарах и была окружена старухами, которые шептали над нею всякий вздор, перебирали всех

идолов по именам, не забывая и Керемета, и всякий раз Зеила, услыша его имя, вздрагивала и металась по постели. Наконец молодость и природа взяли свое: через неделю Зеила могла вставать и даже выходить. Первое, что она услышала, была весть о появлении страшного медведя, наводившего ужас на всю окрестность и делавшего опустошения в стадах... Сердце ее замерло. Нетвердыми шагами пошла она, как могла скорее, к ключу. Стада паслись, рассыпавшись по лугам... Дукмора не было! Сердце Зеилы облилось кровью. Она угадала все!.. Ломая руки, бросилась она в отчаянии на траву.

Дукмор, тщетно приходя каждое утро к ключу, чтобы увидеть Зеилу, решился наконец именно в тот день, когда Зеила в первый раз оставила свою хижину, идти на гибельный подвиг; он просил одного из стариков посмотреть в тот день за его стадом, отдал ему Зиглора и Зуррая, рассказал, где лучше трава и к какому месту ручья пригонять пить. Обеспечив таким образом довольство вверенного ему стада и дождавшись, когда старик зашел с ним за рощу, Дукмор приблизился к ручью,

остановился на берегу его и долго смотрел на деревню. Наконец простирая руки к хижине, под кровом которой цвел прелестный цветок его, пленительная Зеила, он воскликнул: «Зеила! Может, ты придешь сюда завтра, может, еще сегодня, но я уже не встречу тебя... И увы! Кто знает, встречу ль я тебя когда-нибудь?.. Прости, Зеила, прости! — повторял он, ударяя себя руками в грудь. — Ужасный Керемет даром не смеется! Оба слышали мы страшный хохот его, а он... он всегда окупается кровью!..»

Дукмор пошел тропинкой, пролежавшей вдоль ручья и ведущей в самую глубь леса; он шел все по одному направлению, пока наконец дошел до такого места, где и ключ и тропинка исчезали в болотах и непроходимой чаще. Тут он остановился, осматривая внимательно все окружающие его предметы; между валежником, заросшим кустами малины, тянулась едва приметная, узкая тропа; в ней опытный глаз смелого черемиса не мог обмануться. Это была тропа медведя. Мужественный молодой человек отдалил мысль свою от Зеилы, забыл зловеший хохот Керемета и,

взяв твердою рукою нож свой, стал бодро на тропе, которою необходимо надобно было идти свирепому животному. Ожидание его длилось не более часа. Гул, пыхтенье и треск сучьев, раздающиеся по всему лесу, дали знать Дукмору, что настало время. Медведь необъятной величины показался на тропе и в ту же минуту стал на задние лапы; то был знак, что он увидел человека. Зверь с ревом шел на Дукмора. Дукмор шел к нему. Уже лапы чудовища были на стройных плечах черемиса; нож Дукмора был во внутренности медведя... Но увы! Несчастливая Зеила! Нож свернулся!.. Мгновения довольно было лютому зверю. Дукмор пал без образа и жизни. Чудовище, смертельно раненное, упало близ него, каталось по земле и, истекая кровью, ревело неистово. Дикий рев издыхающего зверя раздавался по всему лесу, оглашал окрестность и заставлял все живущее с трепетом укрываться в самые неприступные места. Стадо, дико озираясь, несло, как вихрь, к селению, вбежало в него, жалось, теснилось к домам. Собаки с визгом подлезали под мостовины, под печь, под лавки и, трясясь всем телом, жалоб-

но выли. А люди?.. Все, что только было в поле, кинулось в деревню. Женщины с воплем бежали к оставленным детям; мужчины, вооружась чем попало, палкою, дубиною, жердью, вилами, косою, жались, однако ж, в тесную толпу и так подвигались к своим селениям. Наконец дикий рев вдруг замолк... Все черемисы остановились и с изумлением смотрели друг на друга. «Кто ж жизнью своею выкупил нашу безопасность? — спрашивали они один другого. — Медведь издох — нет сомнения, но он изломал своего противника, и в этом также нет сомнения: медведю некогда реветь, когда нож пойдет удачно; он умирает безгласно и в одну секунду, а то, видно, нож свернулся. Но кто ж бы это?» — «Наши все здесь», — говорили они, пробегая взорами по всем лицам. «А Дукмор?» — сказал кто-то в толпе. «Дукмор!» — повторило несколько голосов, и в первый раз еще имя злосчастливого юноши произносилось с участием. «Дукмор, наш силач, красавец, молодец, о каких у нас до сего времени и не слыхали. Ах, как жаль!..» — «Вот беда! — шептали между собою молодые люди Дукморовых лет. — Вот беда,

если в самом деле он! Говорят, набор будет непременно зимой. От нашей деревни следовал один только рекрут: уж сказали бы спасибо за такого красавца, а теперь — беда!..» — «Ну кто ж виноват? Ведь сами подстрекали, иди да иди, шуба тепла и красива!.. — сказал один из пожилых черемисов, вслушавшись в слова их. — Ну, вот теперь надень эту шубу, да и ступай в солдаты!» — «Ну, что ж — и пойдет, кому очередь!» — перервал староста.

«Полноте! Ступайте в поле: нечего уже теперь толковать — все кончено; пошлите приволочь труп медведя и похоронить того, кто был его победителем». Все возвратились в поле, исключая трех молодых ребят, которых жители деревни Бугры послали в лес за медведем и Дукмором.

Но Зеила? Что с нею? Где она была в то время?.. Бедная Зеила лежала на берегу ручья и плакала, как вдруг раздался ужасный рев медведя, рев, в котором слышалась ей смерть ее любезного.

Она вскочила в ужасе; с минуту стояла неподвижно, трепеща всем телом; в глазах ее изобразилось помешательство; вдруг она по-

шла быстро по течению ручья, прямо в лес, не бежала, но шла чрезвычайно скоро, расплетая торопливо свою шелковистую, светло-русую косу, достающую за колена; расплетя и распусая волосы по ветру, она пустилась бежать с быстротою гонимой лани. Я никак не могла доспроситься у жителей: чему они приписывают это странное действие ее? Был ли то род каких-нибудь чар или просто признак начинающегося сумасшествия? Зеила бежала по той самой тропинке, по которой за несколько часов перед тем прошел злополучный Дукмор. Солнце было уже близко к закату, но, не страшась более мрачных теней, не страшась уже ничего в мире, Зеила продолжала бежать лесом и наконец, закричав пронзительно, упала на землю... В пяти шагах от нее лежало раздавленное и исковерканное тело Дукмора. Оно все было в крови, выбрызнувшей, выжатой из всех пор, из всех мест растерзанной кожи его!. Несчастливая Зеила влеклась к нему по земле, испуская глухие стоны. Приползши, она обняла тело, судорожно сжала его и беспрестанно обтирала кровь с лица и головы Дукмора своими волосами. Так

застигла ее ночь. Несчастливая уже ничего не понимала: для нее не было ужасов!.. Кроткая, робкая и суеверная черемиска сидела одна, в дремучем лесу, в глубокую полночь, близ мертвого тела и в десяти шагах от издохшего медведя чудовищной величины!

Приметно было, что ужас, сосредоточившийся в душе ее, превышал все ужасы в мире. Она продолжала стонать глухо, дико и то отирала кровь волосами, то прижимала их к глубоким язвам мертвого Дукмора.

Трое молодых черемисов, отправленных из деревни Бугры, застали ее в таком положении; они чуть не убежали, сочтя несчастную обаянием Керемета. Но тяжкий стон Зеилы и чарующая красота ее одержали верх над суеверным страхом. Проникнутые глубочайшим сожалением, они подошли к ней, убеждая оставить плачевные останки юноши и идти с ними домой. Несчастливая не понимала их, даже не смотрела на них. Наконец, видя бесполезность убеждений своих и не имея духа разлучить ее силою с бездыханным предметом любви ее, они отошли от нее и, зацепя труп медведя веревками, потащили в дерев-

ню. Приволокли свою добычу, один из них пошел в Курцем сказать, что видел Зеилу в лесу, сидящую над телом Дукмора. Все женщины в сопровождении своих мужей, братьев, сыновей пошли толпою в лес, нашли бедную Зеилу, все в одном положении, стелящую и обтирающую волосами кровь с лица и головы своего Дукмора. Горько плача, взяли они ее на руки и понесли домой; она не делала никакого сопротивления и только стонала. Мужчины подняли тело Дукмора, донесли до роши и там похоронили, недалеко от ключа.

На другой день Зеила пришла в совершенное расслабление; она не стонала более, лежала без движения и без всякого признака жизни, исключая чуть приметное дыхание. После трех недель шептанья, колдованья и невнятного бормотанья всех деревенских шаманов и шаманок, с утра до вечера дежуривших у нар Зеилы, юная черемиска возвратилась к жизни, но рассудок ее навсегда расстроился; она осталась сумасшедшею, и с того времени вот ее род жизни: зиму всю она прилежно работает, но не говорит ни с кем ни слова; когда же настанет весна, сойдет снег,

покажутся трава и цветы, Зеила берет ведра и идет на ключ; наполнив водою, ставит их на землю и стоит несколько времени неподвижно на одном месте, устремя глаза в глубь рощи; после начинает прислушиваться; ужас рисуется в глазах ее, и наконец, вскрикнув пронзительно, бежит с быстротою ветра по известной тропинке, прямо в лес, достигает места, где лежало тело Дукмора, бросается на землю, стонет, мечется, наконец садится на берегу ручья, опускает в него свои волосы и моет их тщательно, припевая слова, которые я, сколько ни старалась, не могла переложить в стихи, так, чтобы сохранить смысл и чувство, какие в них находятся. Вот что поет Зеила, смывая мнимую кровь с кудрей своих:

*Бежит, гремит, кипит, клокочет  
Волшебный ключ моей страны!  
Злой Керемет в лесу хохочет  
В часы полночной тишины!  
Бежит, гремит, по камням скачет  
Волшебный ключ моей страны!  
На берегу девица плачет  
В часы полночной тишины!  
Бежит, гремит, волной сверкает*

*Волшебный ключ моей страны!  
С кудрей девица кровь смывает  
В часы полночной тишины!*

После двух или трех часов непрерывного полоскания своих волос Зеила идет к могиле Дукмора, обнимает ее, прижимается к ней лицом, покрывает волосами и остается так, безмолвно и неподвижно, до тех пор, пока которая-нибудь из ее названных матерей придет взять ее и отвести домой. Без малейшего сопротивления она повинуется и идет послушно за тою, которая придет сказать ей: «Полно, Зеила, пойдем в деревню — тебя ждут».

Зима прекращает все. Зеила остается в избе, не ходит на ключ, не моет волос и никогда не поет своей песни. Тиха, покорна, трудолюбива, она с утра до вечера занимается делом и даже самыми тяжелыми работами; по наружности казалось бы, что она спокойна, но ужасная сухощавость, смертная бледность, всегда потупленный взор и беспрестанное молчание показывают невыразимую тяжесть сердечных мук и близкий конец жизни. Тщетно все женщины, на руках которых она выросла и которые любили ее почти более

своих собственных детей, тщетно старались не допускать ее к тяжелым работам: не было на это средства, и они наконец, несмотря на свою простоту, поняли, что терзания души ее превзойдут меру, если она останется хоть на один день в праздности, поняли, что непрерывное занятие для нее необходимо, и дали ей волю поступать, как она хочет. В первые дни после ее грустного выздоровления они хотели было утешить ее, разговорить, заставить сказать хотя одно слово. «Да успокойся, Зеила, дитя наше! — говорили они, плача и обнимая ее. — Бесценное дитя наше! Скажи нам что-нибудь! Скажи нам, что у тебя болит? Что тебе надобно? Скажи нам хоть слово, дай нам, ради бога, услышать голос твой! Послушайся же нас, Зеила, не мучь так бедных матерей своих!..» Все было бесполезно. На их ласки, слова и плач Зеила отвечала молчанием, томным взором и тем, что прилегалась на грудь той из них, которая сидела к ней ближе; последнее делала она машинально, по какому-то темному воспоминанию детской привязанности, которую имела ко всем женщинам деревни, ее воспитавшим, но приметно было,

что теперь она не узнавала ни одной из них. Ужасное состояние! Приближение весны делало в ней ощутительную перемену. Глаза и все черты лица оживлялись, наружное спокойствие исчезало; она была в непрерывном волнении и каком-то нетерпеливом ожидании. На лице ее изображалось иногда чувство радости, кроткого веселья, уверенности в счастье (увы! навсегда минувшем!). Но вдруг вся физиономия ее изменялась; испуг и страдание рисовались в глазах ее и во всех чертах лица — страдание, столь жестокое, что женщины, сидевшие с нею, ломая руки, убегали прочь...

— Боже мой! Вы растерзали мое сердце вашею повестью, но продолжайте, продолжайте, прошу вас, будьте так милостивы и немилостивы вместе!

— Повесть моя приходит к концу. В помещательстве Зеилы было еще одно замечательное обстоятельство. Хотя она зимою никогда не пела своей песни, но всегда болезненно вздрагивала, если слышала кого-нибудь поющего.

— Неужели имел кто-нибудь бесчеловечье

петь при ней те слова, которыми она оплакивала свое несчастье?

— Как можно! Нет, да суровые черемисы к тому и неспособны. Но как они поют все одинаково жалобно, вроде какого-то завывания, то немудрено, что который-нибудь из звуков напоминал Зеиле ее песню, а с ней и страшную картину полночи в лесу, смерти, ран, крови, картину ее ужаснейшего злополучия.

— Мне, однако ж, странно, что Зеила сочинила песню, видно, так, как делают лунатики, что для меня всегда было и будет непонятно.

— Для такой песни, какую сочинила Зеила, не нужно уменья, а просто природная способность к поэзии, которою в высшей степени одарены все черемисы.

— Черемисы — поэты, и еще в высшей степени! Бог вам судья! Вы хотите заставить меня смеяться, когда у меня слезы на глазах.

— Вольно вам и плакать, и смеяться невпопад: вы не верили, что у нас есть Серный Ключ, не верили, что я ездила на воды! Но вот теперь вы убедились в двух истинах; так же будет и с поэзией черемисов. Слушайте со вниманием и вникните в то, что буду вам

рассказывать... Что вы улыбаетесь? Я не шу-  
чу: поверьте, что этот народ — поэты, да еще  
какие! Импровизаторы!

— От часу не легче!

Взгляд Лязовецкой заставил ротмистра ки-  
нуться целовать ее руку.

— Виноват. Право, мы, квартируя по дерев-  
ням, привыкаем бог знает к каким выражени-  
ям. Не гневайтесь: я готов верить, дивиться и  
благоговеть пред черемисами — поэтами, им-  
провизаторами, но докажите мне хоть малей-  
шую возможность такого чуда, не употребляя,  
однако ж, для убеждения меня власти вашего  
пола, требующей безусловного доверия!

— Неисправимый человек! Итак, слушай-  
те: образ жизни черемисов, их нравы, обы-  
чай, язык, тайная привязанность к идолопо-  
клонству, выбор места для жилищ всегда сре-  
ди лесов отделяют их совершенно от других  
племен и осуждают на всегдашнее одиноче-  
ство. Черемис природно грустен; его не раз-  
влекает ни одно из тех упражнений, которы-  
ми занимаются его соседи татары, как-то: тор-  
говля, мена, переезд из одного города в дру-  
гой; он не выращивает, не холит коня, не

шьет халата, не выделяет ергака;[8] он только пашет землю и зимою ловит белок, чтобы, продав их кожу, купить себе соли. Вот весь круг его деятельности. Разум его, не занятый житейскими заботами, имеет весь досуг погружаться в таинственность нелепых обрядов давней веры, что делает его мрачным, скрытным, недоверчивым; он молчалив даже в своей семье и дышит свободно тогда только, когда остается один. Он уходит в лес, свое отечество, свою стихию, углубляется в чащу его и там без помехи предается вполне природной меланхолии. Там он чувствует себя как нельзя ближе к доброй матери своей, природе, и с восторгом поет красоты ее. Он воспевает, хвалит все предметы, на какие только устремляется взор его. Смотря на красивую березу, могучий дуб, высокую сосну, он поет, что дерево приятно для глаз, что зелены и густы его листья, как снег, бела его кора, прохладна тень и гибки ветви, по которым скачет проворная белка. В дубе хвалит он другие преимущества, его крепость и даже назначение.

— Желал бы я слышать: какими словами

он приветствует дуб?

— Он говорит: «О дуб, дуб крепкий, долговечный! Судьбой ты назначен для дальних путей. Ты видишь смерть, несешь богатствами с ветром буйным ты в вечной борьбе!» О сосне поет, что она высока, пряма, вечно зелена, что неизменяемость ее зелени похожа на постоянство его любви.

— Как? Он и любовь тут вмешивает?

— Разумеется. Странен вопрос ваш, Л...

— Почему странен? Можно быть поэтом без любви, можно и любить и не иметь никакого понятия о поэзии.

— На первое еще могу я согласиться, но последнее невозможно. Нет! Невозможно, было бы даже что-то уродливо. Но возвратимся к моим черемисам. Убедились ли вы теперь, что они имеют дар петь и сочинять в одно время? И не права ли я, утверждая, что черемисы — поэты и импровизаторы вместе?

— Ах, в чем вы не будете правы! Но как я уже всему теперь поверил, не будете ли иметь снисхождения досказать о Зеиле?

— Злая ирония! Повесть Зеилы уже досказана. Зеила покоится теперь подле своего Дук-

мора. Одна зеленая насыпь покрывает их обоих.

— Так она умерла?

— Да, один из наших чиновников был в тех местах и, возвратясь, рассказывал, что при нем принесли Зеилу мертвую с Дукморовой могилы. В тот день была она бледнее обыкновенного, но так же, как и всегда, пришла к ключу, набрала воды, поставила ведра на землю и стала прислушиваться; так же, как и всегда, вскрикнула, полетела, будто стрела, в лес, но, прибежав на место, где нашла некогда мертвое тело Дукмора, не стонала, не металась по земле, а села спокойно, тихо оставалась с полчаса погруженною в мысли; потом наклонилась к земле и с нежностью целовала ее несколько раз; наконец встала и, не подходя уже к ключу, пошла медленно в обратный путь. У могилы Дукмора она затрепетала, упала на нее, с восторгом обняла и так сильно прижалась к ней лицом, что когда подняли уже ее с могилы, мертвую, то увидели, что сухие растения прокололи ей лицо и вонзились до костей.

— Бедная!

— Последнее время женщины, замечая по необычайной бледности и худобе Зеилы, что конец ее уже недалек, не выпускали ее из вида. Всегда одна из них ходила за нею следом; они очередились в своей печальной должности, и моя бывшая хозяйка, более всех ее любившая, имела горестное преимущество ходить за нею в последний день ее жизни, поднять ее мертвую с могилы и на руках своих принести к себе домой...

Лязовецкая замолчала. Ротмистр также молчал; Печаль закралась в его душу. В воображении его рисовались то прелестная бедная Зеила, с черными глазами и длинными светло-русыми волосами, то стройный, высокий Дукмор, гордый, стоящий на тропе, с блестящим ножом, то слышалось мелодическое пение Зеилы, то плеск ручья, то рев медведя, то хохот злого духа черемисского. Одним словом, он погрузился в глубочайшую задумчивость.

— Не хотела бы я рассказывать еще раз в жизни своей этой истории, — сказала наконец Лязовецкая, вставая с дивана и свертывая свою работу.

— Бедственная участь двух молодых сирот!..

— Маменька! Да что вы не ложитесь спать? — сказал с плачем один из мальчиков. — Посмотрите, ведь уже день!

Ротмистр и прекрасная хозяйка оба взглянули в окно. Восток начинал уже алеть.

— Ах, как я виноват! — вскричал ротмистр, торопливо схватывая свою фуражку. — Я употребил во зло ваше снисхождение! Можете ли вы простить меня?

— Мне не в чем прощать вас, — сказала простодушно Лязовецкая. — Я сама находила удовольствие рассказывать, увлекаясь интересностью происшествия.

Л... хотя торопливо, но нежно и пламенно поцеловал белую ручку милой хозяйки и ушел. Когда дверь затворилась за молодым уланом, Лязовецкая подошла тихонько к двери кабинета, легонько отворила ее и, видя, что супруг её спит глубоким сном на своей походной постели, опять притворила. Подошед к кровати меньшого из сыновей, не перестававшего звать ее, она прилегла к нему. Успокоенное дитя обняло лебединую грудь

матери, и оба в ту ж минуту заснули.

# Примечания

Черемисы — принятое прежде название народа мари, принадлежащего к семье угро-финских народов.

[^^^]

Кратес (IV–III вв. до н. э.) — древнегреческий философ-киник, последователь Диогена; отказавшись от всего своего имущества, вел бродячую жизнь.

[^^^]

свинство (франц.).

[^^^]

Шабур, правильнее «шовыр» — марийская национальная верхняя одежда в виде кафтана.

[^^^]

# 5

Флажолет — вид флейты.

[^^^]

Здесь Дурова следует ошибочному воззрению, бытовавшему в XIX в., о том, что поволжские угро-финские народы — марийцы, удмурты, мордва во время своих языческих богослужений приносят человеческие жертвы.

[^^^]

Керемет— по марийской мифологии, общее название божеств — родовых духов-хранителей, в ряде случаев — злых духов.

[^^^]

# 8

Ергак — тулуп из козьего, жеребьячьего или какого-нибудь другого меха с низким ворсом.

[^^^]